

...И вот я вновь у небольшого дома из красного кирпича, где немало было прожито и пережито. Теперь здесь непривычно пусто. Ни бабушки моей — Натальи Егоровны, ни деда — Михал Иваныча, ни соседа — Кольки Ворона. Сдвинули брови одряхлевшие избы, сады заглохли, вкривь потянулась пьяная изгородь, и только рябина у дома улыбалась и звала под своё зелёное крыло.

Я оглядывал всё это родное и знакомое, почти не изменившееся и лишь слегка припудренное старостью. Казалось, сама душа моя искала здесь что-то и никак не могла найти. Потому и цеплялся взгляд за каждый сучок бревенчатого сарая, за немую собачью будку, за обнажившиеся рёбра курятника. И странное чувство овладевало мной, словно не я, а эти подслеповатые окна, это крыльцо с прищуром ступенек, этот продувной сеновал разглядывали и пытались вспомнить меня. Нет, родной дом не стал чужим, он просто постарел за годы нашей разлуки, немного ссутулился и притих без добрых хлопот и уверенной руки хозяина. Все вещи живы настолько, насколько часто к ним прикасается человек. А нет человека — и всё порастает тягучей дрёмой, коростой забвения. Ветра стирают прежний лик, а воды уносят память. И лишь в глубине любого предмета, пока его не рассыпало время, теплятся токи минувшего. Подойдёт человек, прикоснётся рукой, душою, любовью своей, и, словно спящие царевны, оживают ступени, дрёмные двери,

тепло и осмысленно смотрят в мир окна, отступает угрюмый страж заустепенная — крапива — и прилетают птахи, в счастливых хлопотах своих рассыпая весёлый щебет и приветствуя жизнь.

Несколько дней я провёл в трудах: поправлял крыльцо, выкашивал около дома сорную траву, подвизывал изгородь... И когда уже понял, что самое необходимое сделано, решил пойти на рыбалку. Утро было зябкое, и, вспомнив, что в сенах, в сундуке, всегда хранились тёплые вещи, я решил покопаться в нём и найти себе что-либо подходящее.

Сверху лежало старое доскутное одеяло, под ним — какая-то грубая сумка с неимоверно огромными пряжками, калоши, платья, старый китель. Я поднял его за тяжёлые плечи, встряхнул и надел. Китель пришёлся в пору. В карманах нашупал горсть дедовской махорки и аккуратно сложенную для самокруток пожелтевшую от времени газету. Сразу стало тепло, необыкновенно уютно в этом кителе, и протекла по душе волна чувств, словно озарило минувшим.

Я увидел, как отец с мамой приехали за мной в деревню, чтобы забрать после летнего приволя с собой в город. В доме, конечно, радость встречи: растопили печь, бабушка пышек напекла, пирогов, мама городскую еду на стол нарезала, отец с дедом беседовали у окна, а я разглядывал на диване только что привезённые мне книжки.

Радость нашу заметил сосед — Колька Ворон, стал прохаживаться у калитки и поглядывать в окна.

— Ишь ты, — кивнул дед отцу, — гляди-кось, то неделями его не видеть, то тут как тут. Вот нюх-то на рюмку!

— Ворон, что ли? — спросила бабушка.

— А то кто? Колька!

Странное дело, в селе все друг друга звали по имени-отчеству, а Ворона, несмотря на преклонный возраст, даже ребятишки всегда окликали Колькой.

— Ворон — прозвище, что ли? — спросил отец.

— А хрен бы знал, — махнул жилистой рукой дед. — Всегда так звали. Вишь, ходит в сером пинжаке, в брюках таких же, в кепке чёрной. И нос вон — как у ворона. Птица та ещё... Он родом не наш, откуда-то с Сибири. Жена его, Маня, — эта наша. А он издаля залетел. Лет за пять до войны, должно. Ага. Или шесть. Перед самой войной в Москву уехал, и там, говорят, ножом кого-то убил. Насмерть, нет ли — не знаю. Но в тюрьму попал и всю войну там... В сорок восьмом возвратился и с тех пор пьёт и пьёт — всегда капля на носу. А другие люди говорят, что никого он не зарезал, а в окружение попал и в полициях ходил. За то, мол, и сидел.

— Будет тебе болтать-то! — рассердилась бабушка.

— А я что? Говорят... — дед пожал плечами.

— Ты, зятёк, его не слушай. На вот лучше пышечку горячую, угостись... А Вороном зовут — у них фамилия такая — Вороновы.

— Фамилия само собой, — подтвердил дед. — Однако вон тоже фамилия — Бычковы, а Ваську Бычком не кличут, потому как худосочный и, стал быть, не соответствует. А наш Ворон, он и есть что птица ворон. Ишь, зыркает! Учуй добычу.

— Может, пригласить его? — спросила у бабушки мама.

— На кой он тут? Набивается скоро. На медовый спас зашёл, выпили с дедом по лампадке. Гляжу, наш-то как ни в чём не бывало, а этот зашатался весь, пошёл на крыльцо курить да уснул там. Едва растолкали.

— Полбеда, — многозначительно заметил дед. — Годами не умывается. Как вернулся — ни разу его никто в бане не видал. Вечно из ушей солома торчит. Какая жара была — в речку не окунулся. Маня его говорит, последний год вовсе с ума сходит: спит в одежде.

— Что же случилось? — удивилась мама. — Помню, раньше опрятным был.

— Раньше, — отреагировал дед. — Раньше на ёлках груши росли, а теперь только шишки. Когда было-то?..

— Видимо, у него гидрофобия, — вступил в разговор отец. — Это болезнь такая, когда человек воды боится.

— Как говоришь? — сощурился дед.

— Гидрофобия. То же самое, что и бешенство.

— Бывает, — кивнул дед, — бывает ужас какой бешеный. Маньку свою избивает до синяков зелёных. Эта, как ты говоришь, самая настоящая гидра он и есть.

— Опять ты! — ткнула его в плечо бабушка и, повернувшись к отцу, добавила: — Страху в нём много. Может, и воды боится.

Колька Ворон тем временем прямо напротив наших окон начал колоть дрова.

— Мать, — позвал бабушку дед, — посмотри там у себя за печкой: земля с оси не скovyрнула? Ворон дрова колет. Где б записать.

— Ты его не зовёшь, он и обращает на себя внимание.

— Жарко что-то стало, — заметил отец.

— А ты сними китель, — посоветовала мама.

— Да-а, — протянул дед, ласково оглядев китель. — Сукно хорошее. Настоящее.

— Примерь!

— Что я, барышня что ли? У двери повесь.

— Примерь, Михал Иванович. Впору будет — подарю.

Дед засиял, засмутился, словно испугался даже, руками замахал.

— Да ты что? Куда мне его носить? У нас тут парады не устраивают.

— Да примерь, говорю. Он тёплый. Пороху понюхал.

Дед как бы нехотя влез в рукава, а бабушка, счастливо улыбаясь, сложила руки на переднике.

— Как молодой сделался дед-то!

— Не боишься? Девки теперь за мной — рысью.

— Вот и забирай, носи на здоровье, — улыбнулся отец.

Дед поёжился, у зеркала постоял — так, сяк, боком — даже глаза задымились слезой.

— Эх, зятёк, такую ты мне радость!.. Впору, впору. А? Шур, — он подтолкнул плечом маму, — мужа ты правильно выбрала, — и, пританцовывая, пошёл обнимать отца.

Сели за стол. Дед китель снимать не стал, всё плечами водил, одёргивался.

— Юр, — обратился он к отцу, — ты говоришь, пороху он понюхал? — и приложился носом к рукаву. — А вроде ещё не выветрилось. А? Сколь годов, а не выветрилось.

— Было, Михал Иванович, было, — ответил отец, поглаживая раненую ногу.

— А никогда ты не рассказывал, — сиял дед, — как воевал, какую местность освобождал. Кто у тебя командиром был?

— Что рассказывать? Вы ж никого их не знаете.

— Ты расскажи, и узнаем.

— Ляшенко был у меня командиром. Хохол. Мужик мощный!

— Что-то я такого не слышал, — насторожился дед. — Постарше-то его кто был командир?

— Много было постарше.

— А самый главный?

— У нас — Жуков.

— О! — обрадовался дед. — То — мужик!

Колька Ворон тем часом метался за окном. И под стожок рукой лазил, и граблями под ним ширял, и вилами елозил, словно искал чего.

— Всё крутится Колька, — в голосе деда проснулось участие. — Нешто поднести ему лафитничек? — И запел:

*Ты не ве-ейся, чёрный во-орон,  
Над мое-ю голово-о-ой...*

— Цыц! — остановила его бабушка. — Услышит — разобидится на-смерть.

— А что я ему? Из песни слова не выкинешь.

— Вот и замолчи! На тебе колбаски городской. Закуси.

— Не-е, — потянул дед. — Я её не уважаю. Ты, Шур, хошь обижайся, хошь нет, а зря её везла. Ни мясом не пахнет, ни фигом каким. Жуёшь, как верёвку. Я люблю всё натуральное. Вот щи из петуха вчера мать варила. Это — да. — И вновь повернулся к отцу. — Значит, боевой китель? Это хорошо. Сукно, сукно какое! У-у-у!

— Куда?!! — неожиданно по-петушину пронзительно заорал за окном Колька Ворон. — Сознавайся! Куда?!!

Из окна было видно, что Колька с кулаками бросился на свою жену. Дед сразу вышел из дому и уже с крыльца уговаривал Николая успокоиться.

— Я под стожок её положил, — объяснял Ворон, — думал, схороню от этой, а видать-таки углядела. Как теперь опохмелиться мне? Нечем! Не понимает, дура!

— Ладно, ладно, — успокаивал дед, — опохмелим тебя, угомонись.

Дед сбегал в дом и вынес лафитник. Колька крикнул и подобрел.

— Зять, гляжу, с дочкой к тебе приехали.

— Да, — заулыбался дед. — С подарками. Вишь, китель фронтовой с плеча подарил. Он ведь с Жуковым воевал-то. Да! Не то, что кто-то там где-нибудь.

— Китель? — заморгал Колька. — Китель хороший. Чтобы носился — обмыть надо.

— Так и быть, поднесу ещё.

Дед ещё раз сбегал домой, а Колька ещё раз крикнул и наслаждался. Курили, обсуждали текущие дела, и вдруг дед с наскоку в упор спросил:

— Говорят, Коль, ты в Москве человека зарезал. Трепятся, что ли?

Ворон съёжился.

— Зарезал? — выдохнул Колька.

Он уже изрядно опьянел, сощурился и — грим себя кулаком в грудь.

— Злость! На себя злость!.. Всего тебе не скажу — совестно... Однако,

Миш, не зарезал, но через меня... человек повесился. — И, словно испугавшись своих слов, замахал руками. — Что?.. А? Поверил? Шучу я, шучу.

— Понятное дело, шутишь, — кивнул дед. — Садись. Ещё выпить хочешь?

Колька горько улыбнулся. Беззащитно обнажил щербатый рот. Руки успокоились, не тряслись.

— А чего ты, говорят, будто не моешься? — допытывался дед.

— А сколько ни мойся, всё одно вины с души не отмыть. И, знаешь, — глаза Кольки забегали, засуетились, в них появилось что-то рабское, паническое, — мне цыганка одна гадала, что смерть ко мне от воды придёт.

— Боишься, что ли?

— А кто не боится? Дурак только.

— Ты и есть дурак, раз цыганке поверил.

— Глупый ты, Михаил, человек. Вот не знаешь, а всё, что она мне сказала, сбылось.

— Тогда и последнее сбудется. Берегись, не берегись — сбудется. Кто на что записался — тому и быть.

...А потом мы уехали, и зимой умер дед. А ещё через год не стало и Кольки Ворона. Рассказывали, что пошёл он к реке — лошадь там у него паслась, а тем часом двое соседских мальчишек играли на крутом берегу. Один возьми да оступись. Колька увидел — плюх за ним! — вытолкнул мальчика из воды, а у самого сердце, видно, зашлось, погрузился под воду, и разыскали его мужики только на следующий день.

...Дом вздрогнул, как от взрыва, — это реактивный преодолел звуковой барьер. Я очнулся от воспоминаний и, собрав удочки, пошёл на реку. Облака текли низко и быстро, но мороси не было.

Я почему-то пошёл не сразу к месту рыбалки, а кругом, хотела душа насладиться и полем, и колочими, серыми, словно шинели, стогами, выстроившимися до самого леса. Так я шёл и вспоминал себя. Так перетекало моё

настроение от берёзы к калитке, от калитки к рябине, от неё — к размазанной заколичной дороге. А вот и крайняя изба. Какая же это прелесть — русская избушка! Хоть и ветхая какая встретится, хоть и горбенькая, а всё в радость. Солнцем жжёная, дождём тёртая, ветром скоблёная — звон один до сини. И кажется, что стоит она недвижимо, ан нет! Всё вокруг себя вычистит, выскребет, обиходит, глазу даль покажет. И скрипит себе, скрипит потихоньку, пережёвывает ступеньками дни да ночи, луны считает, от солнца щурится — вольно ей и радостно на родной земле. Хоть и подточены горестями сучки-зазубринки, хоть и погрызли мыши углы, а есть в избе свет и внутри — от икон намоленных, и снаружи — от доброго людского труда и неба ясного. Кинет она туда, в синь поднебесную, дымок пуповиной из трубы и слушает небо. Долго, долго, долго... И всё понимает, всё знает, всё скажет тому, кто слышать может.

Я устроился на берегу под ветлой и, закинув удочки, долго вглядывался в набегающую чешую волн. Потом, согнув руку в локте, засмотрелся на складки подвыцветшего кителя, которые легли морщинами, словно смотришь на холмы и овраги откуда-то с большой высоты. Соринка в одной из складок привиделась мне человеческой фигуркой. Вот она тронулась с места, поползла, а над ней лёгким дымом струились сумерки. Человек был ранен, поэтому передвигался урывками, ползком. Туго перевязав ногу у голенища, чтоб не хлестала кровь, воин полз к реке. “Теперь век жить буду!” — уговаривал себя боец. По краю оврага щетинилась крапива, а внизу валялись обгорелые жестяные бочки, тлеющее тряпье и раскуроченный грузовик.

Навстречу раненому, тоже ползком, двигался другой солдат — немец. Из-за бугра между ними они не видели друг друга. Один полз к своим, другой — к своим.

Почти одновременно вскарабкавшись на холм, они на мгновение замерли метрах в пяти друг от друга. Забыв о своём ранении, русский поднялся в полный рост и без малейшего признака боли, уверенно переступая со здоровой ноги на кровоточащую, с упрямой ненавистью наступал на немца. “А кто тебя, гад, сюда звал!” — хрипел раненый. Немец хотел броситься бежать, но ноги отказали ему. Схватившись, оба покатались под склон. Уже внизу, вырвавшись на мгновение, немец вскочил и бросился в сторону, но дикая, шальная пуля опрокинула его навсегда в чужую траву.

Порыв ветра, сдувший соринку со складки рукава моего кителя, вернул меня из пригрезившегося. Поплавки мерно колыхались на волнах. Вода текла и текла. Она двигалась тяжело и весомо, сохраняя в себе, как в генах, все, исключительно все события Мира. Вода текла, считывая каждое мгновенье, запоминая каждую секунду. Подобно крови, которая насыщает жилы жизнью, родительница-вода в любой, даже самой лёгкой своей капле плескала к моим ногам память веков. И огромное облако, широко распластав крылья подобно сказочному Ворону, несло мне живую и мёртвую воду. Пошёл дождь. Земные и небесные воды омывали меня. За чередой частых капель размывались дома и сады, размывались леса и стога, проявлялись незнакомые силуэты, вырастали новые дали. В этом кружении, в этом желанном потоке прорезалось тугими лучами молодое солнце, и влажно затеплилась радуга.